

УДК 316.75:32

doi 10.17072/2219-3111-2020-4-173-180

ПОЛИТИКА ПАМЯТИ, ВЫЗОВЫ ИДЕНТИЧНОСТИ И СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УГРОЗ В ОЦЕНКАХ РОССИЙСКИХ И АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КУЛЬТУРЫ¹

О. В. Воробьева

Институт всеобщей истории РАН, 119334, Москва, Ленинский пр., 32а
Российский государственный гуманитарный университет, 125993, Москва, Миусская пл., 6
vorobushek1@yandex.ru

Ф. В. Николаи

Приволжский исследовательский медицинский университет, 603005, Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1
Российский государственный гуманитарный университет, 125993, Москва, Миусская пл., 6
fvnik@list.ru

Представлен краткий обзор современных дискуссий о политике памяти в российских и англоязычных исследованиях культуры. В отечественных исследованиях рассматриваются преимущественно проблемы утраты национальной идентичности и кризис профессиональных стандартов в исторической науке. Главными носителями памяти выступают государственные институты и академическое сообщество историков. Контрагенсом и носителем угроз национальной идентичности с этой точки зрения являются глобальные неолиберальные элиты, противостоять которым можно лишь через консервацию сложившихся традиций и сохранение оппозиции «свой» – «чужой». В англоязычных работах преобладает интерес к транскультурному диалогу и междисциплинарному сотрудничеству, требующему ревизии границ между историей, антропологией, психологией и социальными исследованиями. Ключевыми носителями памяти выступают отдельные индивиды и (неформальные) культурные сообщества, которые всегда ангажированы и не могут следовать позитивистским критериям научной объективности образца XIX в. Контрагенсами и носителями угроз здесь выступают консервативные националистические институты и государства, ограничивающие локальные практики коммеморации своих граждан. Обе эти модели содержат внутренние противоречия, связанные прежде всего с транскультурным диалогом и поддержанием академических стандартов, которые невозможны в условиях конструирования оппозиции «свой» – «чужой». В этом отношении важной функцией исследований памяти и культуры в целом можно считать переосмысление самого бинарного характера этих оппозиций и отказ от алармизма, во многом вызванного спецификой современного (презентистского) темпорального режима, пытающегося полностью контролировать и подчинить как прошлое, так и будущее, которое может и должно оставаться открытым изменениям.

Ключевые слова: политика памяти, культурная идентичность, неолиберализм, управление рисками, политика времени, исследования культуры.

В последние годы все большее распространение как в западной, так и в российской историографии получают дискуссии о презентизме – специфическом темпоральном режиме, предполагающем подчинение прошлого и будущего прагматическим интересам настоящего и представляющем в этом отношении инверсию господствовавшей в эпоху модерна прогрессистской устремленности в будущее [Hartog, 2015, р. 18–19; Олейников, 2016, с. 10–12; Репина, 2018, с. 49–51]. С этой точки зрения, широкое распространение сегодня в самых разных странах «войн памяти» и ностальгии показывают, что прошлое все чаще выступает ресурсом для легитимации и пересборки современных идентичностей. В то же время многие исследователи справедливо отмечают, что будущее сегодня не исчезло, но «сменило знак»: место прежней оптимистической веры в прогресс заняли опасения неизбежных рисков и угроз, которые почти не-

возможно предотвратить [Simon, 2019, p. 71–72; Stockdale, 2016, p. 176–180; et al.]. Символическое воплощение и языки описания этих угроз, разумеется, различаются как в региональном, так и в дисциплинарном плане. Цель данной статьи – сравнить два тезауруса в описании социокультурных угроз и стратегий их преодоления, сформировавшихся в российских и англоязычных исследованиях культуры и (исторической) памяти.

Англоязычная версия *memory studies* сложилась еще в 1980-е гг. и была изначально связана с полемикой о травме и психоаналитическим дискурсом. Речь идет не просто об анализе механизмов взаимосвязи индивидуальной и коллективной памяти, но о терапевтической проработке – преодолении трудного прошлого, центром и парадигматическим событием которого выступает холокост. Одной из ключевых причин последнего (и, соответственно, угрозой, которую «никогда снова» нельзя допустить) выступает националистический дискурс. С этой точки зрения, сложившиеся в XIX в. национальные историографические нарративы ведут к конфликтам и насилию. «Люди прошлого гибли не ради нации, но из-за нации» [Lorenz, 2019, p. 30]. «Форма, в которой мы думаем о прошлом, – это скорее память без границ, а не ограниченная национальными рамками история» [Huysen, 2003, p. 4]. Главным носителем памяти становится сегодня не (национальное) государство, а индивид, причем его отрефлексирующая самоидентичность оказывается во многом подчинена бессознательным и аффективным механизмам, которые проявляются в повседневных практиках. Соответственно, перспективы преодоления угроз национализма связаны с индивидуальной проработкой трудного прошлого и выстраиванием *транскультурного диалога*, которые опираются на этическое суждение и перформатив.

Показательным примером этого представляется коллективная монография под редакцией Люси Бонд и Джессики Рэпсон «Транскультурный поворот: вопросы к памяти на границах» [The Transcultural Turn..., 2014]. Как отмечают редакторы книги, основной функцией памяти становится мобилизация сообществ, интеграция или объединение разных (в том числе конфликтующих между собой национальных) групп. Ее транскультурный характер следует понимать не как выстраивание наднациональных связей, но как способность преодолевать границы и формировать гибридные идентичности. Напомним, что один из лидеров постколониальных исследований, Хоми Баба, использовал понятие гибридности именно для деконструкции сложившегося в нарративах XIX–XX вв. понимания нации: «Я пытаюсь писать о западной нации как о неясной и вездесущей форме жизни локальной культуры. Эта локальность сопряжена скорее с темпоральностью, чем с историческим: некая форма жизни, более сложная, чем “общество”; более символическая, чем “общество”; более многозначная, чем “страна”; менее патриотичная, чем *patrie*; более риторическая, чем государственный интерес; более мифологическая, чем идеология; менее однородная, чем гегемония; менее центрированная, чем гражданин; более коллективная, чем “субъект”; более психическая, чем цивилизованность; более гибридная в артикулировании культурных различий и идентификаций – пола, расы или класса, чем это может быть репрезентировано в какой бы то ни было иерархической или бинарной структуре социального антагонизма» [Баба, 2005, с. 69–70]. В схожем ключе сегодня используется и понятие уязвимости (прекарности), также предполагающее необходимость ревизии культурной гегемонии и сложившихся границ национальных идентичностей.

С этой точки зрения, национальные нарративы и их аффективное отыгрывание опасны своей попыткой подчинить будущее словарю текущей прагматики, редуцировать полифонию гибридных идентичностей к монологу. Избежать этой опасности можно, обратившись вместо национальных генеалогий к этическим основаниям памяти. Этика выступает универсальным принципом, объединяющим представителей самых разных культур. В XX в. ее историческим основанием становится общий опыт потерь в мировых войнах. Холокост выступает предельным событием, на фоне которого этическая модель работает в двух несимметричных модальностях: эмпатия обеспечивает близость с жертвами и выжившими, а критика позволяет выстроить дистанцию в отношении палачей и инициаторов насилия. Этическое суждение в этом контексте совпадает со свидетельством и приобретает перформативный характер, поскольку призвано не просто обозначить, но усилить это неравновесие. А память оказывается «мультимодальна» и гетерогенна. Важно отметить, что этику нельзя смешивать с идентификацией: различия поколений и опыта здесь принципиально важны. Как отмечает Р. Козеллек, опыт солдат и гражданских, мужчин и женщин, военнопленных и узников лагерей уничтожения сильно различается.

И передать его оказывается крайне трудно: «Этот опыт невозможно передать. Он наполняет память людей, его испытавших, определяет их воспоминания, течет в их телах подобно лаве. Опыт современников, которые не прошли лагеря, и тех, кто родился позже, вторичен по сравнению с ним» [Koselleck, 2018, p. 240–241].

Кроме этики огромное значение для европейской культуры памяти приобретают официальные политические церемонии коммеморации. Как отмечают известный австралийский исследователь геноцида Дирк А. Мозес и американский историк холокоста Майкл Ротберг, «формулируя этику памяти, мы должны дополнить ось сравнения осью политического воздействия (affect). Аффективная ось характеризует цели сравнения, обозначая поле от конкуренции до солидарности. <...> Располагая практики коммеморации по этим двум осям, мы получаем четыре большие группы с разной политической валентностью и возможность градации внутри этих категорий» [Moses, Rothberg, 2014, p. 33]. Этот политический элемент неустрашим из коллективной памяти, нарративов и стратегий репрезентации.

Переплетение личного опыта и коллективной памяти вызывает напряжение, сказывающееся в самых разных стратегиях коммеморации. Ш. Каттаго предлагает выделять такие стратегии, как ностальгия, институционализация мест памяти, молчание и столкновение с непрощенными призраками прошлого [Kattago, 2020, p. 8–10]. Все они могут быть использованы как для обострения конфликтов, так и для примирения. Причем поскольку носителями памяти являются прежде всего отдельные люди, ответственность за выбор модальности использования стратегий невозможно переложить на какие-либо социальные или культурные институты. Разумеется, это не значит, что национальный уровень памяти полностью нивелируется, – он оказывается составной частью или одним из компонентов постоянных процессов или гетерогенных практик коммеморации.

В России для исследований (исторической) памяти оказались характерны другие тенденции. В академической историографии преобладает стремление выстроить аналитическую дистанцию по отношению к ангажированности *memory studies* и «войнам памяти». «Будучи включен в пространство социальной памяти, историк одновременно призван ее “поправлять”, руководствуясь профессиональными стандартами и нормами. <...> Темпоральные характеристики исторического сознания имеют еще один важный аспект, который связан со статусом истории как особой критической (корректирующей) формы памяти о прошлом» [Репина, 2018, с. 56; также см.: Репина, Леонтьева, 2015; Ростовцев, Сосницкий, 2014]. У исследователей политики памяти, в отличие от англоязычных историографов преобладает интерес к национальной идентичности и влиянию на нее официальной государственной и образовательной политики [Методологические вопросы..., 2018]. С этой точки зрения, национальные нарративы XIX в. продолжают определять общественную солидарность, хотя и с поправкой на дифференциацию функций социальных институтов и вызовы глобализации. «Всякие становящиеся или возрождающиеся формы вне-, до- или после- национальной идентичности должны восприниматься как размывание, кризис, утрата идентичности как таковой» [Сыров и др., 2019, с. 49].

Кроме того, если в англоязычной историографии проблематика памяти в последние годы все чаще обсуждается как часть более масштабных процессов – трансформации темпорального режима или режима историчности (Ф. Артог), то в российской историографии дискуссии о презентизме и политике времени пока не имеют такого масштаба. В результате презентизм чаще всего воспринимается как искажение профессиональных академических норм. Или как признание «референциальности исторического сознания» [Репина, 2018, с. 49] – его неизбежной культурной взаимосвязи не только с прошлым, но и с современной для историка эпохой. С этой точки зрения, историк оказывается посредником между поколениями. Такое посредничество предполагает скорее модерацию дискуссий в соответствии с принятыми в культуре нормами, но не активную политическую ангажированность.

В англоязычных же дискуссиях о политике времени акцент делается на необходимости активной ревизии дисциплинарных границ между историей (изучающей европейское прошлое), антропологией (исследующей «доисторическое» прошлое и неевропейское настоящее, уравниваемое с этим прошлым) и политэкономией (имеющей дело с современностью). В результате историк неизбежно оказывается непосредственным участником актуальных социально-политических дискуссий, полемики о кризисе неолиберализма и поиске путей его преодоления.

Еще одним важным отличием англоязычной историографии является обращение к понятию мультитемпоральности, которое предполагает важность не только прошлого, но и будущего. Это будущее сегодня представляется скорее дистопическим, опасным и не вызывающим оптимизма, свойственного эпохе либерального прогрессизма.

С этой точки зрения, неолиберализм с 1970-х гг. вместо экспансионистского (колониального) освоения пространства переключился на эксплуатацию «внутренних ресурсов» консьюмеристской культуры, а также *ощущения времени*. Современный социокультурный кризис на этом фоне оказывается скорее эффектом, порожденным противоречиями презентистской политики времени. Объяснять его отдельно техническими, политическими или культурными факторами не стоит, как считает известный теоретик медиа профессор Роберт Хассан из Мельбурна. Он утверждает, что «аналоговые» связи модерна (время часов и механических машин, годичной хронологии и национальных нарративов) оттеснены на задний план в современном мире «дигитальным» временем – ускоряющимся распространением компьютерных сетей. Компьютер быстрее человека запоминает и хранит данные в гигантских объемах, виртуальная реальность не совпадает с человеческим опытом и речью. Современный корпоративный капитал использует эти изменения в своих интересах в ущерб публичной сфере, свободе прессы, социальным и политическим институтам эпохи модерна. Именно рассогласование старых политических и социальных структур с интересами новой неолиберальной экономики и новой темпоральности порождает тревогу и ощущение кризиса. «Сегодня как никогда нас *беспокоит* общий опыт скорости. Пульсирующий ритм глобальной экономики как никогда одновременно воздействует (affects) на большинство из нас и очень сильно воздействует. Ускорение ощущается почти физически. Постоянный рост скоростей – темп, с которым наш опыт времени откалывается от (аналоговой) темпоральности механических часов, – является ключевым процессом постиндустриальной или постфордистской эпохи. <...> Неолиберальные экономисты и политики называют эту одержимость скоростью иначе. Для них она означает эффективность. Более того, считается, что стремление к технологическому повышению этой эффективности отличает нас от других видов и делает нас людьми» [Hassan, 2009, p. 19].

Эффективность пропагандируется неолибералами вместе с «гибкостью» – способностью физически, когнитивно и психологически откликаться быстрее, когда этого требует время. Компьютеры становятся образцом действия и самоописания для людей. Но скорость порождает и «смог данных», пробки и сбои в движении информации, риски и угрозы. Их воплощением стал кризис 2008 г. – результат непродуманных инвестиций банков и взаимных страхований, распутать которые оказалось невозможно без сбоя. Сверхвысокие скорости делают риски опаснее и вероятнее. Неолиберальный дискурс безопасности позволяет использовать старые формулы периода холодной войны для символического кодирования *новых* рисков, ощущений прекарности и уязвимости, а главное – для трансформации оптимистического видения будущего эпохи модерна в современные дистопические опасения.

Важно отметить, что неолиберализм не только на порядок увеличил скорости трудовой активности, но и тотально синхронизировал гетерогенные локальные ритмы – стер разницу между трудом и досугом. Кроме того, он сделал кризисы составной частью своего развития, способствующей концентрации финансовых потоков и поглощению мелких и более медленных конкурентов. «Майкрософт», «Амазон», «Эппл» и их китайские аналоги можно назвать вслед за Н. Срничком воплощением «капитализма платформ», который постоянно увеличивает сжатие пространства и аннигиляцию времени, будучи ориентирован на чистую скорость (как отношение пространства ко времени). Такой капитализм стремится перевести все формы активности, включая образование, медицину и социальную сферу, в цифровой код не только с целью экономии издержек, но и главным образом ради темпорального ускорения. В этом контексте идея мультитемпоральности предполагает не возвращение к механическому времени модерна, когда гетерогенные темпоральные практики еще не были полностью поглощены доминирующим режимом. Она позволяет использовать напряжение между этими режимами для поиска альтернативной темпоральной политики, в рамках которой интерес к прошлому, активность в настоящем или интеллектуальные инвестиции в будущее не подчинены какой-либо устойчивой иерархии или интересам одной социальной группы. Именно в этом контексте обсуждение кризиса неолиберализма и политика времени оказываются связанными с дискуссиями о «пост-

постмодернизме» как поиском языка описания и (одновременно) способом изменения господствующей социально-культурной системы [Лавлов, 2019, с. 2–3].

Еще одним важным отличием современных англоязычных исследований культуры представляется сочетание дискуссий о мультитемпоральности и неолиберализме с «поворотом к аффекту» и историей эмоций. Причем история страха, дискурс безопасности и теория моральных паник обсуждаются не только применительно к прошлому, но и в связи с проблематизацией настоящего [Воробьева, Николаи, 2017, с. 264–265]. В России в исследовании антропологии страха пока делаются первые шаги [Архипова, Михайлик, 2017; Неклюдова, 2020], которые редко связаны с полемикой о социокультурных угрозах и стратегиях их преодоления.

Несмотря на указанные различия, можно обнаружить общее в англоязычных и российских работах. В них культурная сфера и память являются одновременно средством и эффектом модернизации. «В этом отношении память лежит в самом центре социальных процессов модерна. Это ее центральное место ведет к тому, что темпоральность и время оказываются ключевыми категориями для описания нововременных обществ» [Sebald, Wagle, 2016, p. 3].

Таким образом, если в российской историографии рассматриваются проблемы утраты национальной идентичности (носителем угрозы при этом выступает неолиберальный вариант глобализации), то в англоязычных исследованиях опасения вызывают скорее «правый поворот» и рост регионального национализма (проводниками которого выступают региональные коррумпированные элиты). Основными контрагенсами в этом контексте являются, соответственно, национальные социально-культурные институты (прежде всего государство) vs неформализованные (сетевые) сообщества. Кроме того, если в России активно обсуждается кризис профессиональных стандартов в исторической науке, то в западной историографии – проблемы активной ревизии дисциплинарных границ.

Условно эти различия можно обозначить как противопоставление «активизма» и «стоицизма» (под которым подразумевается не только личное терпение и самопожертвование, но и делегирование части своих прав социальным институтам и/или государству). «Активизм» преобладает в англоязычных исследованиях культуры, «стоицизм» – в отечественных: активизм и политическая ангажированность публичной истории противопоставляются здесь деполитизации и академической нейтральности, ревизия нарративов национальной исключительности – сохранению национальных традиций и национальной памяти. Безусловно, активистская и стоическая стратегии не гомогенны. В некоторых случаях их векторы аргументации могут меняться местами: сторонники стоического сохранения национальных традиций выступают за активную политику памяти на международной арене, а сторонники активной публичной истории – за «медленное чтение» и приоритет этики в интересующей сфере.

В результате смысловых и социокультурных напряжений, которые генерирует эта оппозиция, культурное поле приобретает динамику. Но реальное (эффективное) преодоление обозначенных угроз вряд ли возможно в рамках бинарного противопоставления. И в этом отношении терапевтическая функция культуры состоит в напоминании о множестве редко используемых сегодня стратегий (иронии, выстраивания аналитической дистанции, прогнозирования и т.д.); в переосмыслении самого бинарного характера этой оппозиции; в снижении градуса алармизма, во многом вызванного спецификой современного (презентистского) темпорального режима, пытающегося полностью контролировать и подчинить будущее, которое может и должно оставаться открытым изменениям (что предполагает неизбежный элемент риска).

Примечания

¹ Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 17-78-30029 «Когнитивные механизмы и дискурсивные стратегии преодоления социокультурных угроз в исторической динамике: мультидисциплинарное исследование».

Библиографический список

- Архипова А., Михайлик Е. Опасные знаки и советские вещи // Нов. лит. обозрение. 2017. № 1. С. 130–153.
- Баба Х. Диссеминация: время, повествование и края современной нации // Синий диван. 2005. № 6. С. 68–118.

- Воробьева О.В., Николаи Ф.В. Культурная история страха: эмоции, аффект и дискурс безопасности // Диалог со временем. 2017. № 61. С. 262–272.
- Историческая память и российская идентичность / под ред. В. А. Тишкова, Е. А. Пивневой. М.: Б.и., 2018. 508 с.
- Методологические вопросы изучения политики памяти / под ред. А. И. Миллера, Д. В. Ефременко М.; СПб.: Нестор-История, 2018. 224 с.
- Неклюдова М. «Ужасное ослепление и его последствия»: к типологии страхов раннего Нового времени // Нов. лит. обозрение. 2020. № 2. С. 29–45.
- Олейников А.А. Политика времени // Социология власти. 2016. Т. 28, № 2. С. 8–14.
- Павлов А.В. Постмодернистский ген: является ли посткапитализм постпостмодернизмом? // Логос. 2019. № 2. С. 1–24.
- Репина Л.П. Эффекты «непостижимого ускорения», или феномен презентизма в истории исторического сознания // Диалог со временем. 2018. № 65. С. 48–58.
- Репина Л.П., Леонтьева О.Б. Образы прошлого, мемориальная парадигма и «историография памяти» в современной России // Электрон. науч.-образ. журнал «История». 2015. № 9 (42).
- Ростовцев Е.А., Сосницкий Д.А. Направления исследований исторической памяти в России // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2014. Сер. 2. № 2. С. 106–126.
- Сыров В.Н., Головашина О.В., Аникин Д.А., Овчинников А.В., Линченко А.А. Концептуальные основания политики памяти и перспективы постнациональной идентичности. Томск: Б.и., 2019. 224 с.
- Hartog F. Regimes of Historicity: Presentism and Experiences of Time. New York: Columbia University Press, 2015. 260 p.
- Hassan R. Empires of Speed: Time and the Acceleration of Politics and Society. Boston: Brill, 2009. 254 p.
- Huyssen A. Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory. Stanford: Stanford University Press, 2003. 192 p.
- Kattago S. Encountering the Past within the Present: Modern Experiences of Time. New York: Routledge, 2020. 166 p.
- Koselleck R. Sediments of Time: On Possible Histories. Stanford: Stanford University Press, 2018. 344 p.
- Lorenz C. Out of Time? Some Critical Reflections on François Hartog's Presentism // Rethinking Historical Time: New Approaches to Presentism / Ed. by L. Olivier, M. Tamm. London; New York: Bloomsbury Academic, 2019. P. 23–42.
- Moses D. A., Rothberg M. A Dialogue on the Ethics and Politics of Transcultural Memory // The Transcultural Turn: Interrogating Memory Between and Beyond Borders / Ed. by L. Bond, J. Rapson. Berlin; Boston: De Gruyter, 2014. P. 29–38.
- Sebald G., Wagle J. Theorizing Social Memories // Theorizing Social Memories: Concepts and Contexts / Ed. by G. Sebald, J. Wagle. New York: Routledge, 2016. P. 1–13.
- Simon Z. B. The Transformation of Historical Time: Processual and Evental Temporalities // Rethinking Historical Time: New Approaches to Presentism / Ed. by L. Olivier, M. Tamm. London; New York: Bloomsbury Academic, 2019. P. 71–84.
- Stockdale L. Catastrophic Futures, Precarious Presents, and the Temporal Politics of (In)Security // Time, Temporality and Violence in International Relations: (De)fatalizing the Present, Forging Radical Alternatives / Ed. by A. M. Agathangelou, K. D. Killian. New York: Routledge, 2016. P. 176–192.
- The Transcultural Turn: Interrogating Memory Between and Beyond Borders / Ed. by L. Bond, J. Rapson. Berlin; Boston: De Gruyter, 2014. 275 p.

Дата поступления рукописи в редакцию 06.10.2020

**POLITICS OF MEMORY, CHALLENGES TO IDENTITY
AND STRATEGIES FOR OVERCOMING SOCIAL
AND CULTURAL THREATS IN RUSSIAN
AND ENGLISH-SPEAKING CULTURAL STUDIES**

O. V. Vorobyeva

Institute of World History, Russian Academy of Sciences, Leninsky av., 32a, 119334, Moscow, Russia
Russian State University for the Humanities, Miusskaya sq., 6, 125993, Moscow, Russia
vorobushek1@yandex.ru

F. V. Nikolai

Privolzhsky Research Medical University, Minina i Pozharskogo sq., 10/1, 603005, Nizhniy Novgorod, Russia
Russian State University for the Humanities, Miusskaya sq., 6, 125993, Moscow, Russia
fvnik@list.ru

The article presents a brief overview of contemporary debates on the politics of memory in Russian and English-speaking cultural studies. In Russian studies, the focus is on the loss of national identity and the crisis of professional standards in historiography. The main bearers of memory are state institutions and the academic community of historians. From this point of view, the global neoliberal elites are contractors and bearers of threats to national identity, which can only be resisted by preserving established traditions and building binary oppositions of “our” and “alien”. In English-speaking studies, the emphasis is predominantly on cross-cultural dialogue and interdisciplinary cooperation, which involves revision of the boundaries between history, anthropology, psychology and social research. The key memory carriers are individuals and (informal) cultural communities, which are always engaged and cannot follow the positivist criteria of scientific objectivity of the 19th century model. Contractors and bearers of threats here are the conservative nationalist institutions and states that restrict private practices of commemoration. Both these models prove to be limited and contain internal contradictions. This is especially true for the transcultural dialogue and maintenance of academic standards, which are impossible in the conditions of constructing “our” – “alien” opposition. In this respect, an important function of research on memory and culture as a whole can be a rethinking of the very binary nature of these oppositions and the rejection of alarmism, largely caused by the specifics of the modern (present day) temporal regime, which tries to completely control and subjugate both the past and the future.

Key words: politics of memory, cultural identity, neoliberalism, risk management, politics of time, cultural studies.

References

- Arhipova, A. & E. Mihaylik, (2017), “Dangerous Signs and Soviet Things”, *Novoe literaturnoe obozrenie*, № 1, pp. 130–153.
- Baba, H. (2005), “DissemiNation: Time, Narrative and the margins of modern nation”, *Siniy divan*, № 6, pp. 68–118.
- Bond, L. & J. Rapson (eds.), *The Transcultural Turn: Interrogating Memory Between and Beyond Borders*, de Gruyter, Berlin – Boston, Germany – USA, 275 p.
- Hartog, F. (2015), *Regimes of Historicity: Presentism and Experiences of Time*, Columbia University Press, New York, USA, 260 p.
- Hassan, R. (2009), *Empires of Speed: Time and the Acceleration of Politics and Society*, Brill, Boston, USA, 254 p.
- Huysen, A. (2003), *Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory*, Stanford University Press, Stanford, USA, 192 p.
- Kattago, S. (2020), *Encountering the Past within the Present: Modern Experiences of Time*, Routledge, New York, USA, 166 p.
- Koselleck, R. (2018), *Sediments of Time: On Possible Histories*, Stanford University Press, Stanford, USA, 344 p.
- Lorenz, C. (2019), “Out of Time? Some Critical Reflections on François Hartog’s Presentism”, in Olivier, L. & M. Tamm (eds.), *Rethinking Historical Time: New Approaches to Presentism*, Bloomsbury Academic, London – New York, UK – USA, pp. 23–42.
- Miller, A. I. & D. V. Efremenko (eds.) (2018), *Metodologicheskie voprosy izucheniya politiki pamyati* [Methodological issues in the study of politics of memory], Nestor-Istoriya, Moscow – St. Petersburg, Russia, 224 p.
- Moses, D.A. & M. Rothberg (2014), “A Dialogue on the Ethics and Politics of Transcultural Memory”, in Bond, L. & J. Rapson (eds.), *The Transcultural Turn: Interrogating Memory Between and Beyond Borders*, de Gruyter, Berlin – Boston, Germany – USA, pp. 29–38.

- Neklyudova, M. (2020), ““A Horrible Dazzlement” and its Consequences: Toward a Typology of Early Modern Fears”, *Novoe literaturnoe obozrenie*, № 2, pp. 29–45.
- Oleynikov, A.A. (2016), “The politics of time”, *Sociologiya vlasti*, t. 28, № 2, pp. 8–14.
- Pavlov, A.V. (2019), “The Postmodern Gene: Does Post-Capitalism Mean Post-Postmodernism?”, *Logos*, № 2, pp. 1–24.
- Repina, L.P. & O.B. Leonteva (2015), “Images of the past, the memorial paradigm and “historiography of memory” in modern Russia”, *Elektronnyy nauchno-obrazovatelnyy zhurnal Istoriya*, № 9 (42).
- Repina, L.P. (2018), “Effects of “Incomprehensible acceleration”, or the phenomenon of presentism in the history of historical consciousness”, *Dialog so vremenem*, № 65, pp. 48–58.
- Rostovtsev, E.A. & D.A. Sosnitskiy (2014), “Historical memory research areas in Russia”, *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta*, Ser. 2, № 2, pp. 106–126.
- Sebald, G. & J. Wagle (2016), “Theorizing Social Memories”, in Sebald, G. & J. Wagle (eds.), *Theorizing Social Memories: Concepts and Contexts*, Routledge, New York, USA, pp. 1–13.
- Simon, Z.B. (2019), “The Transformation of Historical Time: Processual and Evental Temporalities”, in Olivier, L. & M. Tamm (eds.), *Rethinking Historical Time: New Approaches to Presentism*, Bloomsbury Academic, London – New York, UK – USA, pp. 71–84.
- Stockdale, L. (2016), “Catastrophic Futures, Precarious Presents, and the Temporal Politics of (In)Security”, in Agathangelou, A. M. & K. D. Killian (eds.), *Time, Temporality and Violence in International Relations: (De)fatalizing the Present, Forging Radical Alternatives*, Routledge, New York, USA, pp. 176–192.
- Syrov, V.N, Golovashina, O.V., Anikin, D.A., Ovchinnikov, A.V. & A.A. Linchenko (2019), *Kontseptualnye osnovaniya politiki pamyati i perspektivy postnatsionalnoy identichnosti* [Conceptual Bases of the Politics of Memory and the Prospects of Post-National Identity], n.p., Tomsk, Russia, 224 p.
- Tishkov, V. A. & E. A. Pivneva (eds.) (2018), *Istoricheskaya pamyat i rossiyskaya identichnost* [Historical memory and Russian identity], n.p., Moscow, Russia, 508 p.
- Vorobyeva, O.V. & F.V. Nikolai (2017), “Cultural history of fear: Emotions, affects and security discourse”, *Dialog so vremenem*, № 61, pp. 262–272.